

Эта пустая страница добавлена для облегчения просмотра в режиме Facing Pages (разворот), который дает наиболее полное представление о том, как выглядит печатная версия.



*В последние годы опубликовано немало материалов о жизни и деятельности видных отечественных востоковедов, ставших жертвами политических репрессий. Среди них одна из самых крупных фигур – Евгений Дмитриевич Поливанов (1891–1938) – один из немногих зарубежных и единственный из русских и советских лингвистов, причисляемых к классикам языкознания. Японист, корейист, китаист, тюрколог, теоретик науки о языке, активный участник языкового строительства в СССР в 20–30-е гг., он за недолгую жизнь успел сделать многое. А еще он немало путешествовал. И история его поездок в Японию, в начале XX в. еще слабо посещавшуюся европейцами, тоже весьма интересна.*

**В** мае 1914 г. на пароходе, совершавшем рейс Владивосток – Нагасаки, среди пассажиров находился молодой человек. Звали его Евгений Поливанов. К тому времени ему было 23 года. Он окончил Санкт-Петербургский университет и Практическую восточную академию, успел стать автором научной работы по японскому языкознанию и намеревался не только продолжить изучение литературного языка, но и основательно заняться диалектом.

Перед молодым ученым открывалось широкое поле деятельности. До него мало кто из специалистов-лингвистов бывал в этой тогда еще загадочной стране. А все задатки для успешного решения поставленных задач у начинающего ученого были. Обладая блестящей подготовкой, Поливанов в то же время был яркой, неординарной личностью.

Владимир Михайлович Алпатов – доктор филологических наук, заместитель директора Института востоковедения РАН.

Евгений Дмитриевич Поливанов родился 28 февраля (12 марта) 1891 г. в Смоленске. Он происходил из обедневшей дворянской семьи. По окончании гимназии он в 1908 г. уехал учиться в Петербург, где сумел получить два филологических образования. Помимо историко-филологического факультета университета, где его учителями были два крупнейших отечественных лингвиста того времени — Иван Александрович Бодуэн де Куртэнэ и Лев Владимирович Щерба, Поливанов прошел курс в Практической восточной академии. Его специальностью стал японский язык.

В то время существовали жесткие грани между филологами и востоковедами, которые недолюбливали друг друга и не допускали в свою сферу «чужаков». Поэтому изучение современных языков и культур Востока оказывалось как бы на «ничейной земле»: они не преподавались ни филологам, ни даже востоковедам. На восточном факультете Петербургского университета изучали древние рукописи, учили языку, на котором эти рукописи писали, но современность игнорировали. Как вспоминал позже Н.И. Конрад, тогда на факультете «начинающий ученый мог рассчитывать на самую активную поддержку своих учителей, когда они видели его сидящим над средневековой... рукописью. И не так просто было тогда молодому ученому сказать, что он с вниманием читает и недавно вышедший роман».

Сказывалась и общая нацеленность гуманитарных наук XIX в. на изучение далекого прошлого, и традиционное для Европы высокомерие по отношению к современному Востоку. Признавалось, что там была когда-то высокая культура, но теперь «дряхлый Восток» далеко отстал от Европы, и его изучение мало что может дать для науки. Такие представления впервые поколебала русско-японская война 1904–1905 гг. Поражение тяжело переживалось русским обществом, и все понимали, что одной из его причин стало полное незнание страны, с которой воевали. Возник значительный интерес к изучению Японии, который традиционное востоковедное образование не могло удовлетворить. Именно после этого в Петербурге открылась Практическая восточная академия, основателем которой стал японист и китаист Дмитрий Матвеевич Позднеев.

В этой академии в основном учились студенты-японисты и китаисты восточного факультета, желавшие прибавить к своей классической подготовке знание современности. Среди них были и такие впоследствии знаменитые ученые, как проходивший одновременно с Поливановым курс японского языка Ни-

колай Иосифович Конрад и учившийся чуть позже Николай Александрович Невский.

Поливанов пришел в академию со своим багажом. На историко-филологическом факультете не знали Востока, но там сложилась школа, разрабатывавшая теорию языкознания. Профессор Бодуэн де Куртэнэ стал одним из основателей науки о языке XX века, создателем оригинальной и во многом опережавшей свое время теории. Однако она разрабатывалась почти исключительно на материале языков Европы. И перспектива изучить язык совсем другого строя, связанный с совершенно иной культурой, была для молодого лингвиста очень заманчивой.

И вот учеба позади. Талантливого выпускника оставили при кафедре сравнительного языковедения для подготовки, как тогда говорили, к профессорскому званию.

Следующие два года были для молодого ученого нелегкими. Болела и умерла мать, ради заработка приходилось преподавать в нескольких местах. Но при этом он продолжал упорно заниматься, изучал несколько языков, опубликовал первые научные работы. В исследовании «Сравнительно-фонетический очерк японского и рюкюского языков», опубликованном в 1914 г., Поливанов предпринял попытку сопоставить японский язык с отдаленно ему родственными диалектами островов Рюкю, что к югу от Японских островов, и выявить древнейшую систему, от которой произошли и японский язык, и рюкюские диалекты. Молодой ученый сделал большой шаг вперед по сравнению с тем, что было достигнуто в этой области мировой наукой.

Но для дальнейшей работы ученому требовалось побывать в Японии. Это было не так легко: связи России с Японией тогда не отличались особой интенсивностью, а главное — нужны были средства. Что касается средств, то Поливанову удалось получить их в Русско-японском обществе. И вот он в дороге.

Японистика в те годы ни в России, ни на Западе не принадлежала к развитым областям языкознания. Очень долго, вплоть до середины XIX в., Япония оставалась «закрытой» страной и о ней за ее пределами было мало известно. В эпоху, когда научным языкознанием являлось, в основном, историческое и сравнительно-историческое, японский язык, родственные связи которого были мало изучены и плохо подавались изучению из-за отсутствия «близких родственников», находился на периферии внимания ученых. Его изучали практики, мало интересовавшиеся теорией языка. И в Японии объектом исследований долго оставался лишь старописьменный язык, на котором уже не гово-



**Гигантский бронзовый Будда.**

рили; лишь незадолго до приезда в Японию Поливанова там начал формироваться новый, современный литературный язык на разговорной основе, и его научное изучение только начиналось. А масса диалектов и говоров, в то время вполне живых, была совершенно не описана.

Маршруты путешествий Поливанова по Японии лишь частично восстанавливаются из его писем и документов.

Первая его поездка оказалась самой длительной: она продолжалась с мая по октябрь 1914 года. На нее не повлияла даже начавшаяся мировая война (Япония и Россия были в ней союзниками). Профессору Мураяме Ситиро (1908–1995), который не одно десятилетие занимался японистическим наследием Поливанова, удалось выяснить, что по прибытии в Нагасаки Евгений Дмитриевич отправился не в Токио или Киото, а в рыбацкую деревню Миэ. Она находится совсем близко от города Нагасаки, но тогда, чтобы туда добраться, надо было целый день плыть на лодке. В то время там еще полностью господствовал местный диалект, еще никем не описанный, и Поливанов решил его изучить.

Поливанов прожил в деревне большую часть лета. Его помощником стал местный учитель по фамилии Ива. Младшая сестра учителя Ива Эй, тогда восемнадцатилетняя девушка, тоже стала информантом Евгения Дмитриевича. В 1978 г. японская исследовательница Сугито Миёко нашла ее. 82-летняя

Ива Эй сообщила, что хорошо помнит *По-ри-сан* (так японцы называли русского гостя). По ее рассказам, Поливанова еще именовали *Массирона хито* («Белоснежный человек») за цвет кожи. Он проводил много времени на местном пляже. Все удивлялись тому, что белый человек, несмотря на отсутствие кисти левой руки (он потерял ее еще в юности), прекрасно плавал. Инвалидность он объяснял участием в революционных стычках. Это, разумеется, была одна из многочисленных мистификаций, к которым прибегал Евгений Дмитриевич. Например, он утверждал, что ему 44 года, хотя на самом деле было только 23. Но могли тогда знать молодой ученый, что спустя три года он действительно окажется в вихре революции?

За лето Поливанов хорошо освоил деревенский диалект, весьма отличавшийся от литературного языка. Однако при выдающихся лингвистических способностях он оказался недостаточно опытен в знании японских обычаев. Поэтому Евгений Дмитриевич допустил непростительную ошибку: он начал разговаривать с жителями деревни на их диалекте. Как вспоминала Ива Эй, это отнюдь не расположило их к чужому человеку, наоборот — над ним стали смеяться. Традиционное японское общество вообще не поощряло общение с чужеземцами (прошло всего шестьдесят лет со времени «открытия Японии»), а уж говорить на «их» диалекте человеку иной расы было, с точки зрения простого японца, совершенно неприлично.

Программу работы Поливанов успешно выполнил. Как выяснили спустя шесть десятилетий Мураяма Ситиро и Сугито Миёко, диалект был записан исключительно точно. Работа оказалась очень важна для общего языкознания и сама по себе. В 1978 г. Сугито Миёко констатировала, что в деревне Миэ произошло очень много изменений: залив обмелел, пляжа уже нет, рыболовство прекратилось, коренное население уменьшилось, зато подступает город Нагасаки, в черту которого уже вошла деревня Миэ. Старики вроде Ива Эй еще помнили диалект, но молодежь уже его забыла и перешла на стандартный язык.

Из Нагасаки путь Поливанова лежал в Киото. Прошло всего полвека с тех пор, как этот город уступил свой столичный статус Токио. Старописьменный японский язык создавался на основе древних говоров Киото, но новый литературный язык в начале XX в. уже формировался в Токио прежде всего на местной основе, а диалект Киото изучался мало. Он не так сильно отличался от литературного языка, как говор деревни Миэ, но



**Японские рыбаки готовятся к выходу в море.**

кое-что, особенно ударение, там имело значительную специфику. Этот диалект также был основательно изучен русским ученым.

Сентябрь и октябрь 1914 г. Евгений Дмитриевич провел в Токио. Там он также изучал местную речь, но в Токио можно было найти носителей разных диалектов, в том числе и диалектов тех мест, которые Поливанов не успел посетить. В Токийском императорском университете существовала единственная тогда в Японии неплохо оборудованная фонетическая лаборатория, а Поливанов еще в студенческие годы получил прекрасную подготовку в этой области у лучшего в России специалиста по фонетике Л.В. Щербы, впоследствии академика. В этой лаборатории он работал с 5 по 13 октября 1914 г., изучая звучание и ударение нескольких диалектов.

Наконец, в Токио он встретился с японскими лингвистами. В основном это были люди сравнительно молодые, но все-таки на пять — десять лет старше его. Впоследствии они стали ведущими языковедами. Один из них, профессор Сакума Канаэ (1888–1970), еще при жизни Поливанова опубликовал о нем воспоминания. Как отмечает упомянутая Сугито Миёко, в широко известной в Японии книге Сакума Канаэ по японской акцентологии, вышедшей в 1929 г., видны явные следы концепции Поливанова.

По мнению самого Евгения Дмитриевича, именно в 1914 г. ему удалось впервые в мировой науке выяснить характер японского ударения. До того одни европейские ис-

следователи пытались найти в этом языке ударение того же типа, что в их родных языках, другие не могли отделить ударение от иных явлений, вроде долготы и редукции гласных. Поливанов первым установил, что японский язык обладает музыкальным ударением особого типа, ранее не отмеченным в языках мира. Он писал: «Констатирование указанных японских фактов можно сравнить (качественно) с открытием новых видов в ботанике и зоологии». Дальнейшие исследования подтвердили его правоту.

В Токио Евгений Дмитриевич встретил двух молодых перспективных японистов, знакомых ему по Практической восточной академии. Это были Отгон Розенберг (к сожалению, рано умерший в 1919 г.) и Николай Конрад, впоследствии крупнейший советский востоковед, академик. При всей близости устремлений и научных интересов людьми они были разными. Конрад и Розенберг воспринимали японскую культуру прежде всего через книгу, а Поливанов был человеком полевого склада, его прежде всего интересовало бытовое функционирование языка. Поэтому так важно для него было путешествовать, познавать язык непосредственно в общении с его живыми носителями.

Но вот наступило время расставания. Розенберг и Конрад могли остаться в Японии на несколько лет, а Поливанову надо было возвращаться в Россию: средства Русско-японского общества подходили к концу. В конце октября или начале ноября



**Е.Д. Поливанов в Японии. 1916 г.**

1914 г. он вернулся в город, за время его отсутствия превратившийся из Петербурга в Петроград.

Осень, зима и весна ушли на сдачу магистерских экзаменов и обработку собранных в Японии материалов. Сделано было много, но хотелось большего. Поливанов снова начинает добиваться получения средств на поездку в Японию. Теперь на помощь ему приходит Русский комитет для изучения Средней и Восточной Азии, возглавлявшийся крупнейшим русским тюркологом, академиком В.В. Радловым. Этот комитет получал государственную субсидию на организацию экспедиций. Комитет решил выделить Поливанову для экспедиции в Японию 500 рублей (не считая оплаты дороги во Владивосток и обратно).

Поливанов писал 25 октября 1915 г. в отчете Русскому комитету для изучения Средней и Восточной Азии (аналогичные отчеты о двух других его поездках не сохранились): «Выехав из Петрограда 17 июня текущего года, я прибыл в Токио 6 июля. Несмотря на диалектологические задачи поездки, Токио был для меня неизбежным пунктом, так как там я рассчитывал встретить лиц, с которыми я уже в прошлом году занимался различными говорами. К сожалению, пребывание в Токио во время летних каникул сделало для меня невозможным общение с профессорами Токийского Имперского Университета, которых удалось увидеть только после 15 сентября нового стиля, т.е. за несколько дней до отъезда в Россию.

Главным результатом поездки было ознакомление с киотским говором, начатое в Токио при помощи уроженцев Киото и продолженное в самом Киото. Мне удалось составить довольно полный (около 14 000 слов) фонетический словарь киотского говора, а также очерк морфологии и записать несколько текстов.

Из Киото я отправился на остров Сикоку, где поселился в небольшой деревне (Мороги) около города Коти (провинция Тоса). Там я имел возможность продолжать начатое в прошлом году изучение тосаского диалекта, наблюдая речь крестьян и рыбаков. Некоторые из записанных текстов могут иметь фольклористический интерес.

По возвращении в Токио (через Кобэ — Киото) я продолжал занятия с уроженцами Киото, префектуры Нагасаки (составлен фонетический словарь около 10 000 слов одного из нагасакских говоров) и Рюкюских островов (говор Нафа). 4 сентября я выехал из Токио в Россию».

Добавим, что на сей раз он общался не только с О.О. Розенбергом и Н.И. Конрадом, но и с талантливым молодым японистом Николаем Александровичем Невским, только что приехавшим на стажировку в Японию (его пребывание там затянется на четырнадцать лет).

В Петрограде в жизни молодого япониста и теоретика лингвистики произошли значительные перемены. Кафедра японской словесности на восточном факультете университета постоянно оказывалась не замещенной, никто кроме японского преподавателя Куроно Есибуми, много лет проводившего практические занятия, там долго не задерживался. Декан факультета академик Николай Яковлевич Марр решил пригласить молодого талантливого специалиста, уже зарекомендовавшего себя публикациями по японистике. Это было нарушением всех традиций: людей, не окончивших факультет, туда не брали. Но Марр был человеком смелым и не считавшимся с традициями. Тогда он помог 24-летнему Поливанову занять должность приват-доцента по кафедре японского языка. А спустя четырнадцать лет именно Марр — вернее, его «учение о языке» — сыграет роковую роль в жизни Евгения Дмитриевича...

Е.Д. Поливанов читал разнообразные курсы: лингвистические методы в применении к китайскому и японскому языкам, введение в японскую диалектологию, грамматику японского разговорного языка, историческую фонетику японского языка, китайские заимствования в японском, историческую грамматику японского языка, фонетику то-

кийского говора, японскую диалектологию. Можно видеть, что преимущественное внимание он уделял более всего интересовавшим его в научном плане вопросам фонетики и диалектологии.

С 1915 г. началась публикация экспедиционных результатов. Первой и самой крупной из вышедших в эти годы работ стала книга «Психофонетические наблюдения над японскими диалектами», вышедшая в 1917 г.

Однако снова хотелось добывать материал на месте. Летом 1916 г. Поливанов в третий раз едет в Японию. Эта поездка окружена некоторой таинственностью. Есть подтверждения о ней с японской стороны, но в России не сохранилось никаких документов, неизвестно, кто финансировал поездку, иногда даже высказывались сомнения в том, была ли она на самом деле. Из явно не вызывающих доверия показаний Евгения Дмитриевича на следствии в 1937 г. можно извлечь некоторую информацию, которая может быть и соответствует какой-то реальности. Он там заявлял о том, что был в 1916–1917 гг. «двойным агентом», одновременно работая на русскую и японскую разведки. Но если признания в «шпионаже в пользу Японии», безусловно, были вынужденными, то показания о связях с российской военной разведкой, которые вряд ли заставляли его давать, могли иметь и какую-то фактическую основу. В этом случае становится понятным, почему не сохранились сведения об этой командировке, во время которой, по некоторым данным, Поливанов посетил и Китай.

Сам Поливанов впоследствии писал, что был в Киото четыре раза за три года, в деревне Миэ — три раза (хотя Ива Эй вспоминала лишь два его приезда), а в деревне Морочи — лишь один раз (видимо, в 1915 г.) в течение девяти дней. Эти диалекты, а также диалект Токио он изучал на месте, другие — в Токио. В результате складывалось представление о почти всех основных японских диалектных группах: северо-восточной (Аомори, Акита), восточной (Токио), западной (Киото, Морочи), южной (Нагасаки, Кумамото, Оита) и обособленной группе диалектов Рюкю (Наха).

К началу 1917 г. карьера молодого приват-доцента складывалась блестяще. казалось, таким же образом всё будет идти и дальше. Но в России произошла революция, и жизнь дворянина Поливанова, всегда отличавшегося политической активностью, коренным образом изменилась. В списке его публикаций, наряду с чисто научными, появляются названия «О чем думают наши



Е.Д. Поливанов в 30-е годы.

министры?», «Преступная игра чиновников-дипломатов» и подобные.

Начинается яркая, богатая событиями, но короткая жизнь революционера и «красного профессора». В 1917 г. Поливанов примыкает к левым меньшевикам и возглавляет отдел печати министерства иностранных дел Временного правительства. После Октября он переходит к большевикам. В ноябре 1917 — январе 1918 г. исполняет обязанности одного из двух заместителей наркома иностранных дел А.Д. Троцкого, в частности готовит первоначальный текст Брестского мира. Потом организация отрядов красных китайцев, работа в Коминтерне, попытка организовать восстание в Синьцзяне и многое другое.

При этом Поливанов продолжает научные занятия и преподавание. В 1917 г. выходит его знаменитая статья о японской транскрипции, и с тех пор русская транскрипция японских слов, употребляемая и сегодня, по праву носит имя поливановской. В 1918–1919 гг. выходят статьи «Одна из японо-малайских параллелей», «Формальные типы японских загадок», «По поводу “звуковых жестов” японского языка». А в 1919 г. Поливанов одновременно вступил в РКП (б) и получил в 28 лет звание профессора (хотя многие профессора факультета ему в это время не подавали руки).

Дальше были многолетние скитания. После подавления восстания в Синьцзяне в 1921 г. Поливанов оказывается в Ташкенте. Он постепенно отходит от политической



**Е.Д. Поливанов у развалин дунганской фанзы. Киргизия, 1936 г. Фото Ю. Яншансина.**

деятельности, но продолжает научную работу, занимается языковым строительством в Средней Азии. В 1926 г. он уезжает на Дальний Восток, где читает лекции в Дальневосточном университете. 8 мая правление университета предоставляет ему заграничную командировку. В последний раз в жизни выдающийся японист попал в Японию, где, по некоторым сведениям, он был всего три дня. Что он там делал, неизвестно.

В том же 1926 г. Поливанова как «красного профессора», способного на равных бороться с «буржуазной наукой», приглашают в Москву. На короткое время ученый получает возможность активно работать и печататься. В это время совместно со своим учеником О.В. Плетнером Поливанов издает грамматику японского литературного языка, печатает важные статьи: «Материалы по японской акцентологии» и «Историко-фонетический очерк японского консонантизма», публикует первый том классического труда «Введение в языкознание для востоковедных вузов», где большое место занимает анализ японского материала (второй том пропал, как и многое другое из его научного наследия).

Поливанов был совершенно необыкновенной личностью, что отмечали окружающие его люди. Хорошо знавший Евгения Дмитриевича уже в 20-е годы писатель Вениамин Каверин, изобразивший его в виде

профессора Драгоманова в романе «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове», писал в воспоминаниях: «Черты гениальности, черты огромного превосходства над окружающими в Поливанове начинали сверкать мгновенно... Тынянов, и я вслед за ним, принимал Поливанова как фигуру несколько загадочную, странную, не ложась в обычные представления. Какой-то ореол таинственности окружал всегда эту фигуру».

Не все любили Поливанова, но все отмечали его многогранный и уникальный дар. Достаточно сказать, что он знал 18 языков. Ему ничего не стоило, например, с листа переводить Гёте с немецкого на узбекский язык. Или, не отходя от стола, за несколько часов написать серьезную научную статью. Писатель и теоретик литературы Виктор Борисович Шкловский (с ним и с Ю.Н. Тыняновым Поливанов создавал знаменитый ОПОЯЗ — Общество по изучению поэтического языка) совершенно точно через полвека после гибели ученого высказался: «Поливанов был обычным гениальным человеком. Самым обычным гениальным человеком».

Он всячески старался компенсировать свой физический недостаток и всегда старался показать, что он ему не мешает. В годы работы в Средней Азии ему ничего не стоило иногда подняться в аудиторию по водосточной трубе. Ему были свойственны крайняя экстравагантность поведения, нежелание считаться с общепризнанными нормами. Рассказывали, например, что когда Евгению Дмитриевичу во время пребывания в Японии не хватало денег, он мог перевоплотиться в буддийского монаха и просить милостыню (естественно, на хорошем японском языке).

В конце 20-х годов в советском языкознании начинает господствовать «новое учение о языке» академика Н.Я. Марра, в котором было очень мало науки и много беспочвенных фантазий. Поливанов выступает в Коммунистической академии с резкой критикой «учения» Марра. Но численное превосходство на стороне его противников, и он терпит поражение. Начинается борьба с «поливановщиной». Евгений Дмитриевич решает не ждать «оргвыводов» и уезжает обратно в Узбекистан, где, как он надеялся, у него оставались прочные позиции.

Однако «новое учение» дошло и туда. После 1931 г. Поливанов потерял возможность печататься в Москве и Ленинграде. Одной из последних его публикаций была статья «Японский язык» в Большой советской энциклопедии, подписанная уже не полной фамилией, а инициалами. Причина понят-





Фото из следственного дела.

на: в том же томе в статье «Яфетическая теория» (другое название учения Марра) о взглядах Поливанова сказано: «Прямые враждебные выпады, идущие под знаком апологии буржуазной науки и империалистической политики капитализма». А ведь, в отличие от конъюнктурщика Марра, Евгений Дмитриевич искренне верил в «революцию труда», как он любил говорить.

Самарканд – Ташкент – Фрунзе... Склоки, травля, смена мест работы. Кое-что удастся опубликовать, например книгу о преподавании русского языка узбекам, но большинство трудов остается в рукописи. Ученый-революционер в новой исторической обстановке оказался не нужен.

В середине 30-х гг., казалось бы, обстановка стала улучшаться. Во Фрунзе (ныне Бишкек), где ученый работал с 1934 г., его ценили больше, чем в других местах. Он активно занимается исследованием дунганского языка, переводит киргизский эпос «Манас». Но в конце июля 1937 г. из Москвы приходит шифротелеграмма за подписью заместителя наркома внутренних дел Фриновского с предписанием арестовать профессора Поливанова и доставить его в Москву. Арест произошел в ночь на 1 августа. Дальше допросы на Лубянке, где Поливанов сообщил о том,

что знает 18 языков и дал вынужденные показания о «шпионаже в пользу Японии» (отметим, что кроме всего прочего его обвиняли и в деятельности против царской России). Именно поездки в Японию сыграли в итоге роковую роль в его судьбе. 25 января 1938 г. ученый был расстрелян. Список его не опубликованных и в подавляющем большинстве не дошедших до нас работ насчитывает более 200 названий.

Японцы редко помнят иностранных специалистов по их языку и культуре, но Поливанов не забыт. Издан сборник его японистических работ, печатаются воспоминания. У нас большую роль в изучении жизни и деятельности Е.Д. Поливанова сыграли Ф.Д. Ашнин, Вяч. Вс. Иванов, Л.Р. Концевич, А.А. Леонтьев. Тем, кто заинтересовался яркой и трагической судьбой ученого, очень советую прочесть книгу покойного самаркандского литературоведа В. Ларцева «Евгений Дмитриевич Поливанов. Страницы жизни и деятельности», изданную в 1988 г. В ней содержится много интересных материалов о Евгении Дмитриевиче. Избранные работы Е.Д. Поливанова вошли в его книгу «Статьи по общему языкознанию» (Москва, 1968).

**В оформлении статьи использованы фотографии, предоставленные автором, а также материалы из фондов отдела изоизданий РГБ.**

Готовя эту публикацию, редакция задалась целью представить современному читателю небольшую статью Е.Д. Поливанова популярного характера, затерянную в малоизвестном издании. Воспользовавшись библиографическим указателем работ ученого, опубликованным в его книге «Статьи по общему языкознанию», мы попытались отыскать статью «Катюша Маслова в Японии», которая была напечатана в 1922 году в ташкентском журнале «Искусство и жизнь». Однако поиск, проведенный в фондах РГБ, дал неожиданный результат: журнала с таким названием никогда не существовало в Ташкенте. Возможно, имела место мистификация, до которых Евгений Дмитриевич был большой охотник. Пришлось найти другое издание, из которого и были взяты предлагаемые вашему вниманию статьи. Это «Сборник Туркестанского восточного института в честь проф. А.Э.Шмидта», Ташкент, 1923. // W 49/540.



## Евгений Поливанов

### Татарская народная версия «Шемякина суда»

Начатое мною собрание народных рассказов об Ахмеди Ясави обнаруживает, что личность святого была просто осью, на которую наматывались бродячие рассказы анекдотического характера. При этом образ Ахмеди Ясави получился, по крайней мере, в двух вульгарных формациях — в разных национальных сферах: в узбекской версии (имею в виду далекое от литературного, чисто устное творчество) Ахмед — типичный дивонэ, несообразительный до нелепости, как, напр., в рассказе о починке дома, где Ахмед ставит подпорки не с той стороны, с которой нужно, в результате чего дом рушится; или в рассказе о том, как Ахмед вытаскивал отражение луны из колодца и, упав навзничь, увидел, что луна из колодца попала прямо на небо. В татарских же рассказах Ахмед — остроумный хитрец, всегда себе на уме. Он только прикидывается иногда глупцом, чтобы надуть своего противника, которого всегда побеждает (раздвываясь, иногда очень жестоко, как напр., в рассказе о мулле и азанчи, которых Ахмед после ряда издевательств посадил в бочку «с целью обучения иностранным языкам», а на самом деле затем, чтобы отрезать у них высунутый в отверстие бочки язык). К этому роду относится и следующий рассказ, записанный мною от татарина Сызранского уезда (Симбирской губ.), Сайманской волости, с. Ахмедлей — Калимуллы Альфонова. Он представляет интерес как одна из версий «Шемякина суда», включающая Шейлоковский мотив о фунте вырезанного мяса у должника (сравни выше статью Е. Пещеревой<sup>1</sup>, а также последнюю из «Сказок Муллы Ирамэ» изд. «Новая Москва» 1923; в последней, впрочем, Шейлоковского мотива нет, и это наиболее близкий вариант к русскому «Шемякину суду»).

#### Суд Ахмеди Ясави с тремя истцами

Однажды Худжа Ахмед Ясави зашел к своему соседу и спросил у него в долг десять рублей на один месяц, при этом говорит ему: «Если только в течение месяца я вам не уплачу, то вы вправе отрезать от моего тела фунт мяса». Сосед дал ему десять рублей. Худжа Ахмед Ясави истратил эти деньги. Прошел месяц, пришел к Худжа Ахмеду Ясави его сосед и спрашивает у него деньги, а Ахмед отвечает, что денег у него нет и когда будут — неизвестно. Проходит другой месяц, и сосед подает на Ахмеда в суд за то, что тот не платит ему его денег. Пошли они в суд. Шли они по одной деревне, и захотелось Ахмеду Ясави выпить воды. Зашел он в один дом, спрашивает воды. Хозяйка налила ему воды, и он

<sup>1</sup> Мотив этот к Шекспиру, как и в Gesta Romanorum, проник в результате длинного пути с Востока — именно из Индии. (Прим. авт.). Имеется в виду статья, опубликованная в том же номере сборника. (Прим. ред.).

стал пить. В это время вдруг на улице поднялся шум; Ахмед бросил воду и выбежал на улицу. Выбежал он не по ступенькам, а прямо прыгнул на улицу, где сидел мальчик, — и убил мальчика. Тут прибежал отец убитого мальчика, страшно рассердился, стал ругать Ахмеда и спросил: «Куда вы идете?» Отвечал сосед Худжа Ахмеда Ясави: «Я веду его на суд». Отец мальчика говорит: «Вот кстати, и я пойду с вами на суд, буду жаловаться, что Ахмед Ясави убил моего мальчика».

И они втроем пошли дальше по улице.

Бежит лошадь, за лошадью хозяин ее, кричит: «Задержите, пожалуйста!» Худжа Ахмед Ясави взял в руки камень, ударил лошадь по голове и выбил у нее один глаз. Лошадь остановилась. Подбежал хозяин, начал ругаться и сказал: «Вы заплатите мне стоимость лошади. Зачем вы выбили ей глаз?» Худжа Ахмед Ясави сказал: «Нет, я не заплачу». Хозяин лошади спросил: «Куда вы идете?» Оба истца ответили: «Мы ведем его на суд». Тогда хозяин лошади сказал: «И я пойду с вами на суд жаловаться, что он выбил глаз у моей лошади». Пошли они дальше и пришли на суд. Первым заявил сосед Ахмеда Ясави: «Ахмед не платит мне долг, и я должен вырезать у него фунт мяса из тела». Вызывают Худжу Ахмеда Ясави и спрашивают: «Согласен ли ты на то, чтобы вырезать у тебя фунт мяса из тела?» Он отвечает: «Да, согласен, но только так, чтобы несколько не менее, несколько не более — чтобы вырезан был ровно фунт; а если только чуть больше или меньше, то с истца голову долой». Дают соседу нож в руки. Сосед тут призадумался и говорит: «Я же не святой дух, не знаю, как определить, чтобы вышел точно один фунт. Нет, лучше я прощаю». Тут Худжа Ахмед Ясави говорит: «Или соглашайтесь резать или дайте мне еще десять рублей, так как у меня понапрасну пропало время». И, наконец, сосед согласился уплатить десять рублей, так как боялся, что ему снимут голову.

Входит затем отец мальчика и заявляет, что Ахмед Ясави убил его сына, прыгнувши на него из коридора. Обрато вызывают Худжу Ахмеда Ясави и говорят ему: «Что ты на это скажешь?» Отвечает Худжа Ахмед Ясави: «Вот что: я выйду на улицу около этого четырехэтажного дома, а он пусть сверху, из окна, прыгнет на меня и убьет меня». Отец мальчика призадумался и говорит: «Если я прыгну отсюда, то не попаду на него, а сам убьюсь. Нет, лучше я прощаю». Но Худжа Ахмед Ясави говорит: «Или соглашайтесь прыгнуть, или уплатите мне десять рублей». Отец мальчика — ничего не поделаешь — заплатил десять рублей.

Тут является хозяин лошади и заявляет: «Ахмед Ясави на улице выбил у моей лошади глаз, и я хочу, чтобы он уплатил мне стоимость лошади». Обрато вызывают Худжу Ахмеда Ясави и говорят ему: «Что ты на это скажешь?» Отвечает Худжа Ахмед Ясави: «Лошадь у него работать годна. Но я хочу сделать так: разрезать эту лошадь вдоль пополам — одну половину, которая с глазом, отдать хозяину, другую оставить мне, а половину стоимости я додам деньгами». Лошадь стоила сорок рублей. Хозяин и думает: «У меня хоть лошадь и с одним глазом, но работать на ней можно, а если ее разрезать, то я за полученные деньги (20 рублей) никакой лошади не куплю. И говорит потому: «Я прощаю». Но Худжа Ахмед Ясави ему в ответ: «Нет, вы или соглашайтесь сделать так, как я предложил, или же уплатите мне стоимость рабочего дня — десять рублей». Хозяин лошади платит Ахмеду десять рублей и уходит.

Так Худжа Ахмед Ясави судился с тремя истцами и заработал на этом тридцать рублей.

## Дальневосточные термины орудий письма

В целом ряде историй культур мы констатируем миграцию понятия о письме (и, следовательно, о его орудиях) вместе с соответствующими терминами в очень древние, доисторические эпохи. И в большинстве случаев источник заимствуемого слова дает указание на путь преемства письменности. Так, греческое происхождение письменности оставило след хотя бы в славянском «грамота» из греческого γραμματια (письмена); а это слово, давшее в эстонском *gramat*, в свою очередь, указывает на славянское культурное влияние на финнов. Далее, тот же самый греческий корень γραφ мы находим и в армянском *grabar* — название древнего письменного армянского языка. Наконец, греческое название инструмента письма проникло и в арабский: *qalam* из греческого *καλαμος*, которое, конечно, с арабской культурой проникло и в персидский, и турецкий словари. Ср. также турецкое (узб.) *dəptər* и монгольское *debt(e)᠒* из персидского *dəftər* — «тетрадь». А кроме Греции — с другой стороны, в русском «книга» можно предполагать результат другого, яфетического и до сих пор загадочного пути знакомства с письменностью: соответствующий источник слова «книга» означал в Вавилоне кирпич — ведь письменность заключалась в выдавливании знаков на глине, и кирпич, таким образом, был древнейшей книгой человечества.

Итак, мы имеем уже априорное основание предполагать в терминах письма *Wörterwandlung*, каким, например, объясняются совпадения слов для культурных заимствований в значительном районе неродственных языков. Сравни в новое время миграцию слова «табак» вместе с этим новым понятием (американское слово разошлось по всем европейским и многим азиатским языкам); или «арак» (водка) — слово арабского корня («потеть»), разошедшееся по Азии в турецких, монгольских, тунгусских и аинском языках (сюда же русское «ракичка» у палестинских паломников). Это миграции нового времени. Приведу два примера, в которых можно подозревать миграции доисторические.

Слово, означающее мед или напиток из меда, поражает совпадениями в самых различных языковых семьях.

Индоевропейское *medhu* (откуда санскритское *mādhū*, русское «мед», греческое *μέθυ* — «медовый напиток», немецкое *meed*, наконец, вероятно, через яфетическую подпочву на европейском юге с заменой *d* через *l* в латинском *mel*, ирландском *míl* и в греческом *μέλισσα* из *μελίτ-ια* — «пчела», буквально — «медовая»), финно-угрское *meti* — откуда финское *mesi*, эстонское *mesi* (произносится *mezi*, в падеже *Osastav mett* из *mettä*), венгерское *miz* (те же соответствия в восточно-финских) и, наконец, древнекитайское (общекитайское — в смысле праформы для всех китайских диалектов) *mit* — откуда современное пекинское *mí*. Слово распространялось, очевидно, вместе с движением нового культурного приобретения — меда и медового напитка, бывших, действительно, амброзией и нектаром доисторического мира, причем шло, надо думать, с запада на восток. Так, в китайском оно, видимо, заимствовано, ибо не находит соответствия в тибетском и других индокитайских языках; между тем китайское слово для пчелы, осы — *фынг* правильно фонетически отвечает тибетскому *sbrang*. Продолжение же миграции мы констатируем на Дальнем Востоке уже в историческое время. Знакомство с медом заносится в VIII в. в Японию из Китая, вместе с чем переходит и термин *mit*, давая японскую форму *mitu* > *misu*. Точно также происходит в Корее, где конечное китайское *t* закономерно превращается в *l*. Мед по-корейски *mil*, и мы по игре случайностей находим однозвучные формы на крайнем востоке и крайнем западе континента — корейское *mil* и кельтское *mil*.

На другое миграционное слово — название лошади — мы наталкиваемся в русском<sup>1</sup> *мерин*. Слово это, очевидно, заимствовано из монгольского (\**mōgin*, калмыцк. *mōgn* = лошадь) и в сужении значения (в русском — только холощенный конь) констатируется основной для теории заимствований закон о более узком значении термина в языке воспринимающем, чем в языке-источнике, если только не вносятся совершенно новые понятия (как, напр., было дело с табаком), а новый термин входит для новой детали частичного случая данного общего понятия, как *омлет* — для нового сорта яичницы, или *маханина* — «конина» из монг. мясо *míxan* > *тахан*, потому что как раз кочевники и ели конину. В этом случае лошадь (*mōgin*) получила значение мерина потому, что монголы ездили именно на холощенных лошадях.

Монгольское слово это имеет, очевидно, значительную доисторическую родню на востоке. Прежде всего, с ним хочется сблизить корейское *mal* (*mag-*), праформа которого заключала, несомненно, не *a*, а другой гласный (для него особый знак в корейском алфавите), в котором из фонетических оснований я склонен видеть корреспонденцию к монгольскому *o*. А затем не невозможно сопоставление этого монгольско-корейского слова и с китайским *mā* (с третьим «тоном», что указывает на исконную долготу слога). Слово это попало из Китая в Японию еще до эпохи литературного китайского влияния (вместе с понятием о лошади, которая и до сих пор почти не распространена в Японии), и это «доисторическое» заимствование имеет форму *mma*. Двойное *mm* объясняется здесь, по-моему, японским звукоизменением архаической китайской формы \**mga* (японский язык способен был заменить начальную группу согласных только долгим или двойным согласным — *mm*). То, что архаическая китайская форма заключала в себе *g*, подтверждается и родственными индокитайскими языками — приведу форму одного из них, *mgaŋ*. Это дает повод видеть общий источник в виде двухсложного *mVrV(ŋ<sup>2</sup>)* для китайского и, может быть, монгольско-корейского (вспомни опять-таки долготу китайского третьего тона). Дальнейшая же эволюция китайского *mga* (м. б. *m<sup>2</sup>la<sup>2</sup>*) > *mia* > *ma* видна из исторических его заимствований в японском: в более древнюю эпоху китайская форма на ступени *mia* правильно переходит в японск. *me*, а в более новую, когда в китайском уже исчезло *i*, *mā* (из *mia*) > японск. *ba* (с закономерным для этой эпохи заимствований переходом носового в звонкий неносовой *m* > *b*).

Что касается терминов письма, то исходным пунктом их миграции, кроме очагов средиземноморских культур, мог быть в доисторическое время и китайский язык (ведь китайская письменность по древности соизмерима с вавилонской).

<sup>1</sup> Кстати, и русские лошадь, кобыла, конь (из *кобнь?* ср. *комонь*) — слова заимствованные, не индоевропейские и именно яфетические (Марр).

Китайское влияние, бесспорно, констатируется на Дальнем Востоке (в Японии, Корее), но его можно предполагать и на западе.

Именно, в *Grundriss der iranischen Philologie* есть указание, что в составе персидского kaṣaz «бумага» мы имеем китайскую основу. Если это так, то китайским словом должно было быть \*kam, означавшее бамбуковую бумагу. Персидское kaṣaz мигрировало через латинский во французский (*cahier* «тетрадь») и, наконец, из французского в польский. Китайское \*kam, в свою очередь, еще в доисторическую эпоху, т.е. до литературного китайского влияния, проникло в японский — kami «бумага» и в рюкюский — kabi (b вместо m объясняется диалектологически).

Другое китайское наследие предполагают у слов с глагольным значением «писать» в монгольском bičik < bitik и турецком bit-mek, bitik; у Руднева: «Опыт сравн. фон. халх-ургуговора» приводятся и другие алтайские соответствия. Следует отметить, что в турецкой сфере основа bit принадлежит восточной части территории (узбекский), тогда как западная довольствуется термином jaz (османский и татарский). Если это так, то турецкая морфема восходит, очевидно, через монгольское посредство к китайскому pit (в совр. пекинском би), что означает кисть для писания тушью, причем турецкий сохранил старое t, которое в монгольских подверглось закономерной эволюции (bitik > bičik). Но можно назвать и другую этимологию для bitik-bičik: греч. πιττῶκιον, которому фонетически вполне закономерно отвечает звуковой состав тур. bitik: b вместо p, как и следовало ожидать для древнетурецкого; i вместо a под сингармонистическим влиянием предыдущего i; все гласные за ударением отпадают.

Но помимо этого японскими этимологами возбуждается вопрос: нельзя ли видеть следов данного китайского \*pit в древнем японском слове fude «кисть для письма»; оно в таком случае должно было быть доисторическим заимствованием из китайского (вместе со словами лошадь, слива, цикада, бумага, деньги и нек. другими, попавшими в Японию еще до усвоения китайской системы письма). На этот вопрос я склонен ответить отрицательно: несмотря на существование перехода pi в fu в некоторых японских говорах, чем, казалось бы, можно было объяснить первый слог в fu, для объяснения второго слога de, из кит. t, нет фонетических оснований. Для fude я вижу туземную японскую этимологию в сочетании основы fumi (\*pumi — Nomen verbale от глагола \*pum-u) и сущ. te «рука». Значение глагола fumi — «топтать, вдавливать» — развило производное — «гравировать, высекать» — очевидно, ввиду древнейшего способа письма (вырезаются или выдалбливаются на дереве и камне древние фамильные знаки). Отсюда значение Nominis verbalis от fumi — fumi «письмо»<sup>1</sup>. От сложения же слова fumi (\*pumi) «письмо» с te «рука» фонетически правильно получается fude: pumi-te > pum(i)te > punde > fude (сравни pumi-tukue > pun dukue > fuzukue «стол для письма»), причем fude получило ровную акцентуацию из ряда высоких слогов, чего и нужно было ожидать из сочетания ровной акцентуации fumi с восходящим по тону te: [pumi]-te > [punde] > [fude]. Таким образом, fumite первоначально значило «орудие письма» (можно найти параллели к употреблению te «рука» в смысле «орудие» в словообразовании), откуда затем значение «кисти для письма». Таким образом, в доисторическом японском представлении о письме (существовавшем, вероятно, в форме вырезывания фамильных знаков) я отказываюсь видеть китайский термин (приходится также отклонить и этимологию fumi из китайского mvun<sup>2</sup> > пекинск. вэнь «литература», прежде всего по фонетическим основаниям). Равным образом и в современном японском глаголе kaku «писать» обнаруживается туземное семантическое развитие, но в этимологии этой основы заложено уже совсем другое, чем в fumi, моторное представление: kaku значит, кроме того, «грести» — ср. общее происхождение греч. γράφω и слав. греб-у из одного индоевропейского корня.

Наконец, упомяну еще о двух примерах влияния китайского языка — опять-таки в кругу культурных понятий. Это восточно-турецкое damulla, киргизское damulda, узбекск. dōmlā «учитель», являющееся сложением кит. da «великий» + мулла (из арабского maula). Буквально турецкое слово означает, следовательно, «великий грамотей», «великий учитель» и интересно как отражение среднеазиатско-турецкого представления о двух источниках образованности: арабском и китайском. Местом образования его была, очевидно, двуязычная территория, где турецкое мусульманское население знало и китайский язык, как в Алтышаре и Джунгарии.

К китайским заимствованиям в турецких яз. относится и киргизское баксы (с < ш на киргизской почве) из кит. pak-ši (современное пекинское бо-ши) — очевидно, через монгольское посредство. То же китайское слово является источником японских: hakase, hakusi (p > f > h на японской почве).

<sup>1</sup> Акцентуационная форма Nom. verbalis fumi «топтанье» совпадает с fumi «письмо» — это было ровное по интонации слово в обще-японскую эпоху, откуда нагасакская баритонная акцентуация. Фонетическое тождество этих двух слов констатируется, между прочим, в одном народном анекдоте, записанном мною в нагасакской деревне и основанном на игре значений: fumi как «любовное письмо» и как Nomen verbalis от «топтать, попадать ногой в нечистоту». (Прим. авт.).

<sup>2</sup> Откуда более позднее японское mon (и mozi < monzi буква) и bun.